

К.А. СУББОТИНА
(Волгоград)

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЧЕХОВА
(проблемы постмодернистского
чеховедения в России)

*Анализируются работы современных чеховедов
конца XX – начала XXI в., выявляются
достоинства и ошибки.*



Ключевые слова: *Чехов, постмодернизм, человек
поля, свобода мысли, современность.*

За столетие, прошедшее со дня смерти А.П. Чехова, о его творчестве было написано в несколько раз больше, чем он написал за всю свою жизнь. Уже в 80-е годы XX в. казалось, что о Чехове сказано все, что можно было сказать. Ведущие отечественные чеховеды подвели итоги, сформулировали те особенности чеховского творчества, которые, с их точки зрения, были самыми значительными. Английский чеховед Д. Рейфилд пришел к выводу: «Чеховедение создало огромный исследовательский корпус. До такой степени мы завалены всевозможными анализами, что после объявления о создании чеховской энциклопедии хочется объявить мораторий на всякое занятие Чеховым. Мы сможем воздержаться от моратория лишь при условии, что появятся оригинальные исследования, способные на углубленное изучение ставших уже банальными вопросов» [2, с. 39–40]. И в 1990-е годы такие исследования появились, возникли новые тенденции в прочтении Чехова, о чем свидетельствует изданный в Мюнхене в 1997 г. сборник статей «Антон Чехов – философия и религия». А. Креницын утверждает, что сборник статей виднейших чеховедов мира оказался гораздо плодотворнее, чем если бы это была одна монография о чеховской философии, поскольку множественность взглядов на эту проблему соответствует ее многогранности и несводимости в единую систему. Интересен способ мышления и анализа современных исследователей. На протяжении одного доклада ученые выдвигали и тут же сами опровергали несколько интерпретаций того или иного произведения, приходя к выводу, что только таким образом можно проникнуть в замы-

сел автора. «На мой взгляд, – пишет Креницын, – это является прямым следствием погруженности литературоведения в эпоху постмодернизма. Мы можем заключить: значит, именно сейчас Чехов оказался необыкновенно актуален и интересен, что и объясняет очевидную удачу сборника» [1, с. 25].

В России в начале 1990-х годов появилось молодое поколение чеховедов, тоже явно ориентированное на постмодернистские теории и методы анализа. Признают или не признают это А.В. Кубасов, Р.Е. Лапушин, А.Д. Степанов, А. Щербенок и др., но их новая интерпретация творчества Чехова во многом обусловлена погруженностью в постмодернистское литературоведение.

Насколько убедительны эти новые концепции? Во-первых, приходит осознание того, что время Чехова – рубеж XIX – XX вв. – во многом перекликается с той ситуацией, которую переживает Россия на рубеже XX – XXI вв. Тот же хаос, крушение старых ценностей, ожидание и опасение перемен – все то, что постмодернистская философия определяет как «постмодернистскую чувствительность», «эпистемологическую неуверенность» с их релятивизмом, иронией и т.д. Чехов великолепно отразил все эти особенности своего времени и уже поэтому должен быть нам близок и понятен.

Во-вторых, по-новому стали воспринимать и самого Чехова, его сложный внутренний мир, его мировоззрение. Для одного из самых пронизательных чеховедов А.П. Чудакова основополагающим для понимания жизненной и творческой позиции Чехова стало его следующее высказывание: «Между “есть бог” и “нет бога” лежит огромное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец» [6, т. 17, с. 224]. Чудаков называет Чехова человеком поля и пишет: «Человек поля абсолютно свободен относительно всяких идеологических вех и границ: он может подходить к ним, удаляться от них в непредсказуемую сторону.<...> Чехов в разные периоды своей жизни был ближе то к одной, то к другой полюсной позиции поля, но никогда настолько, чтобы с ней отождествиться и перестать быть человеком поля. <...> Ситуация человека поля,

характер художественной системы, с ней связанный, и образ ее творца оказались непривычными для русской литературы, долго не понимаемыми критиками и не вполне раскрытыми до сих пор» [8, с. 190, 192]. Эти не до конца понятые и не вполне раскрытые особенности личности творца и его творчества и стремятся раскрыть чеховеды конца XX – начала XXI в. Если ранее самой известной была фраза Чехова о том, как молодой человек по каплям выдавливал из себя раба, то теперь в центре внимания оказалось его кредо, изложенное в письме к Плещееву в 1888 г.: «Я хотел бы быть свободным художником – и только.<...> Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» [6, т.3, с. 11].

Именно сейчас, в постмодернистской ситуации, когда свобода мысли стала главной, если не единственной, подлинной ценностью, многие поняли и приняли свободу Чехова как его «святая святых». Обостряется и осознание того, что, несмотря на все усилия и достижения, современная наука так и не может ответить на главные, «вечные вопросы» и загадки бытия: что такое жизнь, что такое человек и какова его цель пребывания на земле. Эти экзистенциальные вопросы всегда волновали Чехова. Незадолго до смерти он пишет жене: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно, что спросить, что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего неизвестно» (Там же, т.12, с. 93).

Бытие остается непознаваемым, непостижимым. Именно так – «Непостижимое бытие» – назвал свою книгу о Чехове Р. Лапушин. Он обращается к глубинным основаниям чеховской трагедийной философии и утверждает, что страх, одиночество, разочарование, которые сопровождают героев Чехова, проистекают из самой сущности непостижимого бытия, в равной степени не поддающегося ни пессимистическому, ни оптимистическому истолкованию. Книге Лапушина дал высокую оценку А. Чудаков: «Небольшая книжка Лапушина – существенный вклад в набирающее силу в последние годы более сложное и объемное понимание Чехова как писателя философски-

трагедийного, предощущавшего и предвосхитившего неразрешимые – ни в общем нашем с ним веке, ни, видимо, в каком-либо другом – коллизии человеческой жизни и мысли» [7, с. 31]. Другой представитель постмодернистского литературоведения, А. Щербенок, уже вполне осознанно использующий такой принцип анализа, как деконструкция, и опирающийся на идеи теоретика постмодернистской психологии Ж. Лакана, сопоставляет рассказ В.В. Набокова «Ужас» с рассказом А.П. Чехова «Страх» и приходит к выводу, что Чехов раскрыл более глубоко и всеобъемлюще чувство страха у своего героя, более глубоко исследовал его истоки и оказался более последовательным постмодернистом, чем Набоков. Как и у Набокова, страх связывается здесь с непониманием мира, однако непонимание здесь другое: «Если для рассказчика набоковского “Ужаса” бессмысленность и непредставимость означали несовпадение реальности с воображаемым представлением о ней, то для Дмитрия Петровича непонятность соответствует невозможности включения реальности в смыслопорождающую символическую структуру. Героя страшит невозможность отделить правду от лжи в своей жизни (т. е. отсутствие дискурса, способного их разграничить)» [10, с. 200].

Далее всех в постмодернистском осмыслении творчества Чехова продвинулся А.Д. Степанов в труде «Проблемы коммуникации у Чехова» (2005). Степанов интересуется прежде всего отношением имплицитного автора к возможностям коммуникации. Проанализировав ряд произведений («Дуэль», «Учитель словесности», «Моя жизнь», «На пути», «Чайка», «Три сестры»), он делает вывод, что, несмотря на веру самого Чехова в науку, прогресс и факты, информационный дискурс в его творчестве никогда не бывает полностью позитивным. Носители информационного дискурса почти всегда подвергаются этической или эстетической дискредитации, наделяются этической или эстетической глухотой; информационный дискурс иногда является вынужденным (допрос или свидетельство). Даже если факты восстанавливаются верно, то их неверно понимают или сам говорящий, или те, кто его слушают. Ино-

гда, особенно в ранних рассказах, проявляется еще одна особенность информационных дискурсов: они часто оказываются абсурдными или предельно неуместными, что создает комический эффект. «В этой позиции нет утверждения, что истина недостижима или что к ней не надо стремиться, но в ней нет и уверенности в доступности непротиворечивого, полного, гармонично воплотившего все стороны человеческого опыта знания. Чехов-художник испытывает недоверие к человеческому познанию», – пишет Степанов [5, с. 95].

Стремясь глубже понять и объяснить подобную позицию Чехова, исследователь привлекает на помощь такую современную науку, как семиотика, и обращается к аспектам, препятствующим познанию. «Существует глобальная чеховская тема, которую можно назвать старение – стирание знака.<...> Самые разнородные знаки – слова, жесты, поступки, картины, фотографии и т.д. – в чеховских текстах постоянно обесмысливаются», – утверждает Степанов (Там же). Происходит это самопроизвольно, просто с течением времени. Так, в «Скучной истории» Николай Степанович «по старой привычке» целует пальцы дочери, приговаривая «сливочный, фисташковый, лимонный», но при этом чувствует себя «холодным, как мороженое», и думает о своем [6, т.7, с. 256]. В «Нахлебниках» мещанин Зотов каждый день молится, поминая длинный ряд имен: «Кому принадлежат эти имена, он давно забыл и поминает только по привычке» (Там же, с. 282). Чеховский парадокс состоит в том, что субъект стремится сохранить, заморозить смыслы, которые он наделяет повышенной значимостью, но само это стремление ведет к автоматизации и утрате смысла.

Чехов, по мнению Степанова, отказывается от каких бы то ни было бинарных оппозиций, отрицает бинарную логику, что способствует неоднозначному прочтению его текстов. Множественность неуловимых коннотаций обеспечивает разнообразие расходящихся интерпретаций, возможность прямо противоположных оценок, не позволяет читателю акцентировать только одну точку зрения: «В произведениях Чехова, особенно поздних, заложена некая сопротивля-

емость интерпретации как процессу перевода и упорядочивания, они амбивалентны и парадоксальны в каждом атоме своей коммуникативной структуры и потому не допускают безусловных оценок происходящего», – делает вывод исследователь [5, с. 368]. Степанов анализирует рассказ «Архиерей» и убедительно подтверждает справедливость своих рассуждений. В рассказе Чехова контакт (связь с другими людьми, взаимопонимание) и отчуждение не могут восприниматься как оппозиция: контакт оказывается либо странным, непонятным, едва отличимым от отчуждения (с паствой), либо «голым» контактом без содержания, обесцененным, не гарантирующим взаимопонимание, как в разговорах с о. Сисоем, либо проблеском понимания – неполным и скоропреходящим, как в предсмертной сцене с матерью: «Текст Чехова не принимает на веру позитивных коннотаций, которыми надделено слово “контакт” в языке, и фактически разрушает строгое противопоставление его отчуждению» (Там же, с. 348).

Столь же убедительно снимаются другие оппозиции: прошлое и настоящее, счастье и несчастье, понимание и непонимание – хотя бы потому, что сопровождаются бесчисленным повторением таких слов, как «казалось», «представлялось», «похоже было», «как будто» и т. п. «Чеховский рассказ, – пишет Степанов в заключении своего анализа «Архиерея», – вероятно, можно читать только как парадоксальную притчу о разных ступенях непонимания: неразвитый подросток, не понимающий жизни вокруг себя, но слепо верующий; ученый и первосвященник, потерявший связь с людьми, не понимающий, почему прошлое кажется лучше, чем оно было; умирающий, который не понимает уже ничего, но которому кажется, что он свободен и может идти, куда угодно» (Там же с. 358). В этом мире возможны проблески счастья или контакта, но в нем нет места устойчивому смыслу и безусловной оценке: текст сопротивляется интерпретации и потому у одних вызывает чувство освобождения от диктата, а у других – ощущение хаотичности мира и крайнюю степень отчаяния. Многие в этом постмодернистском анализе чеховского текста

весьма убедительно раскрывает новые аспекты и объясняет возможность противоположных интерпретаций.

Главное при таком подходе – не впадать в догматизм, избегать излишне радикальных и однозначных выводов, не следовать теории, пренебрегая смыслом самого художественного текста. Все эти ошибки, на наш взгляд, допускает Степанов в статье «Исток случайного у Чехова». Исследователь предлагает оставить в стороне историю и социологию и нащупать исток чеховской случайности с помощью психоаналитического метода Фрейда-Лакана. В статье анализируется всего один рассказ Чехова – «Гриша» (1886), рассказ о мальчике, которому нет еще и трех лет и который впервые оказался с няней на улице. Конечно, для такой ситуации психоаналитический метод великолепно подходит, но вряд ли можно распространять выводы, которые сделаны на основе анализа этого рассказа, на все творчество Чехова: «Как нам представляется, у Чехова действует почти строгий закон: любой предмет, процесс или система, имеющие цель и функцию, в чеховском мире этой цели не достигают, а функции не выполняют» [4, с. 271]. Сам Степанов прекрасно понимает, что «эти чеховские темы можно считать частью реалистической критики дурного социального устройства» (Там же), но его больше интересует внесоциальная специфика, хотя даже в этом небольшом рассказе, где очень тонко раскрываются психология маленького ребенка, сложный процесс его вхождения в жизнь, овладение языком и т.д., Чехов не забывает и о социальных проблемах. Ведь многие сложности возникают потому, что у Гриши дурная нянька, она не заботится о ребенке, ничего ему не объясняет, вместо прогулки ведет в гости к знакомой кухарке, которая, когда ребенок просит пить, дает отхлебнуть из своей рюмки с водкой. Но на эти детали Степанов внимания не обращает.

Не удалось пока Степанову ответить и на такой сложный вопрос: что же ищут постмодернисты у Чехова? В статье «Чехов и постмодерн» он тоже анализирует единственное произведение – пьесу Б. Акунина «Чайка» – и делает верный вывод для этого частного случая: «Новые идеи не вводятся

в текст, они возникают из старых интерпретаций. Все это старо, банально, условно, мелодраматично» [3, с. 226]. Но и это умозаключение нельзя распространять на весь постмодернизм как художественное явление.

Можно сделать вывод, что взгляд на Чехова сквозь призму постмодернистского литературоведения помогает по-новому понять многие особенности его мировоззрения и творчества, помогает увидеть в Чехове нашего современника. Но догматизм в этом случае совершенно недопустим. Этому противостоит и сам Чехов с его неприятием догм, непрекращаемых авторитетов, уверенности в своей абсолютной правоте. Прав Чудаков, утверждая: «Догматично у Чехова только одно – осуждение догматичности» [9, с. 150].

Литература

1. Криницын А. Anton P. Cechov – Philosophische und religiöse // Чеховский вестник. 1998. №3.
2. Рейфилд Д. Что еще мы сможем сказать о Чехове? // Чеховиана. Из века XX в XIX. М., 2007.
3. Степанов А.Д. Чехов и постмодерн // Нева. 2003. №11.
4. Степанов А.Д. Исток случайного у Чехова // Чеховиана. Из века XX в XXI. М., 2007.
5. Степанов А.Д. Проблемы коммуникации в творчестве А.П. Чехова. М., 2005.
6. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 18 т. Письма : в 12 т. М., 1974 – 1983.
7. Чудаков А.П. Лапушин Радислав. Непостижимое бытие. Опыт прочтения А.П. Чехова // Чеховский вестн. 1998. №3.
8. Чудаков А.П. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле. Чехов и вера // Новый мир. 1996. №9.
9. Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971.
10. Шербенок А. Деконструкция и классическая русская литература. М., 2005.

Chekhov new perusal (post-modernist Chekhov learning problems)

There are analyzed modern Chekhov scholars' works, end of XX – beginning of XXI centuries, revealed advantages and mistakes.

Key words: *Chekhov, postmodernism, field man, freedom of thought, modern times.*